

Всего полтора процента населения Земли рыжие. Носители рецессивного гена, которому, по данным генетики, около ста тысяч лет. Наследники неандертальцев, населявших холодную Европу черт знает когда. Две копии рецессивных аллелей на шестнадцатой хромосоме.

– Ло, ты ведешь себя так, будто у тебя красный перец в заднице, – говорила мать. Мать была не права. Медноголовые – самые робкие люди на планете. Вы полагаете, мы провоцируем вас. Но заметьте: мы проходим тихо, с пламенем своих волос и снегом своей кожи, мы молчаливо несем свои повинные головы, это вы провожаете нас взглядом и представляете черт знает что. Как мы без огня поджигаем, собравшись на всемирный шабаш рыжеволосых, двести тысяч кубометров леса?

– Эй, Ло, а ты везде рыжая? И шерстка там тоже? – кричали подростки мужского пола и роняли меня в снег, дергая за лямки школьного рюкзака. Абсолютные стопроцентные гомо сапиенсы, наполненные доминантными генами и спермой, которую некуда девать. Успокойтесь уже, ублюдки. Истинные наследники рецессивного неандертальского гена медные с головы до ног.

Светлана Кузнецова

Теперь над потолком моей комнаты – чердак, с голубями. Они там копошатся, курлыкают «урлурлу» и порхают, будя меня по ночам. В них кишат паразиты. Прежние квартиросъемщики оставили в углу гнилые ботинки и мусор. Сметать в совок отходы чьей-то чужой жизни – стоит ли на это тратить силы... Мне хватает мусора в своей. Я просто сижу на продавленном тюфяке и смотрю смотрю в одну точку. А вечером на тюфяк ложусь и смотрю в точку на потолке. Позволяю себе бумажный стаканчик кофе по утрам и тарелку вареного риса на ужин. Все, что у меня есть, – этюдник и потертый рыжий чемодан с наклейками. Чемодан не такой рыжий, как мои волосы, он, скорее, палевый, с примесью фуксии. Сделан из шкуры облезшего французского бульдога, как шутила мать. А наклейки с мировыми достопримечательностями (похожий на пряничный домик буддийский храм Джоканг в Лхасе, Эйфелева башня и все такое прочее) остались со времен детства – тогда я еще мечтала попутешествовать по планете.

Помню, как задалась вопросом, какого цвета Эйфелева башня. И теперь с шестилетнего возраста ношу в себе это бесполезное знание – Эйфелева башня «эйфелевого» цвета. Да, официально запатентованный коричневый оттенок бронзы. Черт, меня после этого стала мучить тревога: а что, если я смешаю краски, получу этот «эйфелевый» и начну им рисовать? Вдруг тогда за мной придут и скажут: «Девочка, ты нарушила охранную силу патента, удостоверяющего исключительное право владения этим цветом, мы должны как-нибудь наказать тебя». Но я все равно смешала

Анатомия Луны

краски и добыла чертов «эйфелевый» – на всякий случай, втайне от всех. Я сильно тревожилась, но все равно рисовала.

Кто знает, может, мать была права и у меня в заднице и впрямь красный перец. Именно из-за него я здесь, в квартале 20/20.

В моем чемодане – опасная бритва, гаджет, чтоб узнавать новости с *той стороны*, пара платьев, пара трусов, пара колготок, потертые джинсы, кофта из черного мохера, фотокарточка матери и один на все случаи жизни лифчик, который, впрочем, нужен мне не для того, чтобы поддерживать груди, которых у меня почти нет, а чтобы скрывать от мужчин свои острые соски.

Из двух платьев, что были в моем чемодане, я выбрала серое, из рибаны, до лодыжек. Мне всегда казалось, что это платье приглушает мою рыжеволосость, эту мою ненамеренную, данную мне природой экзистенциальную провокационность. Быть может, воины здешних подворотен не тронут кроткую в сером, даже если она рыжая.

Я в принципе не собиралась слезать с тюфяка в течение всей грядущей зимы отчасти потому, что так и не смогла завести пальто, а отчасти потому, что... хотя черта с два я тут перед вами буду объясняться. Не собиралась, и все тут. Но в тот вечер я все же накинула черную мохеровую кофту – самую теплую вещь из своего чемодана, – надела свои единственные, тоже черные, ботинки, доставшиеся мне от девочки-подростка, какой я, подумать только, была совсем недавно (от нее, робкого и самую малость взбалмошного существа, не осталось ничего, кроме хрупкости

Светлана Кузнецова

и рыжих волос), и отправилась в чайхану. Черт, ведь кто-то из них искал натурщицу с рыжими волосами. Это давало надежду, что я все-таки не умру с голоду этой зимой. Будет бумажный стаканчик утреннего кофе, рис и, может быть, даже выпивка — изредка, по воскресеньям.

В ноябре здесь вечные потемки и слякотная мерзость. Река и залив совсем близко. От ветра можно укрыться лишь в узких переулках. А на более широких улицах ветер скидывает с низко посаженных карнизов бумажные стаканчики с остатками водки и кофе.

Медленно проезжает черный «Кадиллак» — правый передний габарит умят битой до трещины на капоте. В колонках ревет гангста-рэп. Я иду и улыбаюсь своим ботинкам, чтобы не было так страшно. Во всем этом — в простеньком и самоуверенном ритме, в промозглом ветре, пронизывающем до костей, в этих вонючих подворотнях — я чувствую биение жизни, оно все беспощадно живое. Эй, Ло, когда тебя будут убивать, как тебе вести себя? Завыть на Луну, тихонько заплакать, достать из кармана опасную бритву или просто улыбаться по-идиотски?

Квартал 20/20 — гетто для оборванцев и подонков, потенциальных завтрашних мертвецов; квартал таджиков, что держат шиномонтажку на углу Пехотного и Литейщиков, евреев, что делают в своих забегаловках шаверму из собачатины и торгуют фальшивыми документами, китайцев, что промышляют героином и держат бордели за Каналом; квартал индусов, что плечом к плечу с русскими ублюдками дерутся стенка на стенку за

Анатомия Луны

Тарповку с латиносами, швалью, живущей за чертой Латинского проспекта; квартал, где собрался сброд со всех концов мира, все с ножами, кастетами, топорами для рубки мяса, обрезками и дробовиками, все любители табака, выпивки, шмали и прочей наркоты любого сорта; квартал шлюх, которые дают за еду, стариков, что питаются из мусорных баков; квартал, где в ходу и деньги, и бартер, и торговля всеми пригодными для удовлетворения похоти дырами; даже блюстители порядка не суются в это гетто, пропахшее мочой, гнилью, дымом уличных костров, потом шлюх и безбашенных ублюдков, готовых умереть хоть сегодня. Только здесь понимаешь, как идеален мир за пределами квартала 20/20. Впрочем, пошел он на хер, ваш идеальный мир.

Я подхожу к доходному дому в Пехотном переулке. Косые уступы крыши, ребра эркеров, длинные окна, ржавые желоба и водосточные трубы. Этот дом цвета кровоподтека — обшарпанный модерн начала XX века. В его цокольный этаж мне и надо. Четыре ступеньки вниз. Тяжелая дверь. Полуподвальное помещение в клубах табачного дыма. Два окна под самым потолком. Из того окна, рядом с которым стою я, видна лишь кашка грязного снега на мостовой да кусочек серого карниза. Этот бар все называют чайханой потому, что его прежний владелец был родом из среднеазиатских полупустынь, из тех мест, где чахлые кусты, суховей да клочья колючей травы. Бывшего владельца давным-давно убили китайцы, китайцев замочили латиносы, а потом сюда пришли русские и всех поставили на место. Теперь бар и весь этот дом-кровоподтек — под русскими ублюдками. Только

Светлана Кузнецова

вот бар по-прежнему называют чайханой — по старой памяти. Здесь тусуются горькие пьяницы (ведь тут самая дешевая водка во всем квартале) и местные неприкасаемые — вечно укуренные живописцы со своими то ли натурщицами, то ли шлюхами, что в сухом остатке одно и то же. Они не любят слова «художники», здесь оно отдает безысходностью и позором. Но кто же они тогда такие? А никто. Грязь под ногами, то же, что каста неприкасаемых в Индии. Эти нищие неудачники, никому во всем мире не нужные, занимают обшарпанные комнаты на верхних этажах доходного дома в Пехотном, и у них вряд ли есть что-то за душой, кроме холстов, растворителей, красок и травки в целлофановом пакете, они беднее церковных крыс. Взять с них нечего, и говорят, даже русские ублюдки, хозяева этого места, за отказ отдавать арендную плату избивают их сапогами по головам в щадящем режиме. Плюс в том, что в доходный дом в Пехотном переулке не суются латиносы — кровные враги русских ублюдков. Это гавань спокойствия, лунная долина Планка посреди бушующих бурь, хотя за это место когда-то велись войны, сильно, говорят, поубавившие численность местных банд.

Я наслушалась всех этих бандитских, с уклоном в культурно-исторический экскурс историй в местной булочной от стариков-старожилов, которые живут в квартале 20/20 потому, что родились здесь и им некуда деться. Эта булочная — странное место, хотя бы уже из-за того, что ею владеет китайка. Я прихожу сюда за рисом, а старики — за половинкой булки. В полумраке слякотного ноября, в подворотне у булочной, они затягиваются окурками,

Анатомия Луны

подобранными возле мусорных баков, и беседуют друг с другом: «Вечер добрый, дорогой друг! Вы, я смотрю, бороду начали отращивать?» – «Да бросьте... Разве это борода? Это так, инсинуация».

В полутемной, насквозь прокуренной чайхане тряндят о своем нищоброды в прожженных пеплом растянутых свитерах. Ободранные живописцы несвежи и угрюмы от вечного похмелья, как парижские докеры времен Виктора, мать его, Гюго. Но все эти голодранцы всегда находят способ раздобыть некоторое количество бабла, чтобы тут же спустить его на выпивку, табак и травку.

Тут я его и увидела – в углу, с сигаретой в зубах и кольцом в ухе. Предельно мрачный, он задумчиво макал указательный палец в лужицу на столе. Лохматый, как обычно. Резко очерченные крылья выдающегося носа. Большой лоб с буграми у висков – лоб у него всегда был похож на поверхность стиральной доски. Только вот откуда-то взялась эта спутанная черная бородаща флибустьера, годами не сходившего с палубы на сушу. Да, похоже, он тут не просыхал. Он вытаскивает изо рта сигарету и опрокидывает в себя стакан. А я не отвожу глаз от него. Сколько же я не видела его? Шесть лет. Семь месяцев. Восемь дней. А это, черт возьми, как ни крути, пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать восемь часов.

– А, рыжая... – Ольга, проходя мимо, невзначай задевает меня плечом.

Тут все знают Ольгу. Слава идет впереди нее. Брюнетка с блудливыми бедрами. И только я одна в толк не возьму, кто она здесь такая. Все, что я о ней знаю, – имя. Я в этой чайхане впервые в жизни.

Светлана Кузнецова

Позавчера она заметила меня у кофейни на Литейщиков и подошла. Я как раз допивала свой утренний кофе из бумажного стаканчика. Ну да, Ольга – теперь буду знать. Ей чуть за тридцать. Она вечно торчит в чайхане русских ублюдков. Но понять ее статус среди странноватой местной шоблы не так-то просто. Она для них вавилонская блудница? Страстно желаемая модель с какой-то сучьей, яркой, пышно-барочной красотой? Что-то вроде стряпчего, что с материнским рвением обделявает их делишки? Все, вместе взятое? В ней есть что-то индейское – в чуть раскосых глазах, в смуглой коже, в черных, как обсидиан, и гладких, как стекло, волосах.

Ольга меня не упустила. Для нее я рыжий экземпляр, натура, которой так не хватает кому-то из чайханы. «Приходи в среду в Пехотный переулок», – сказала мне она тогда.

Кроме выпивки, табака и травы, их притягивает только одно – красота. Разумеется, ее они мыслят по-своему, ведь у них диковатое, вывернутое наизнанку воображение. Идеальные пропорции, золотое сечение Фибоначчи? Да бросьте, плевать на все это. Даже если ты прекрасен, они высмотрят в тебе изъян и утрируют его на холсте. Такие уж люди. Они любят бугристые лбы, квадраты челюстей, желваки, бурые натруженные руки бакенщиков, анатомические странности. Они могли бы счесть прекрасным вон того лопухого сморчка, что роется в мусорном баке. Жизнь не может считаться уродством.

Теперь Ольга смотрит на меня насмешливым взглядом и кивает на флибустьера с бородой:

Анатомия Луны

– Гроб искал рыжую. Улыбнись ему, дура, и месяц по крайней мере тебе будет что есть.

Покачивая бедрами, она уплывает в табачном дыму. На ней платье из густо-синего сатина, открывающее спину. А спина у нее крепкая, узкая, с глубокой ложбинкой, вся усеянная коричневыми родинками.

Они все здесь называют его мудацкой кличкой – Гроб Гаврил. Но я знаю, что он самый обычный Гаврила Гробин. С ним мы когда-то ходили на свалку оживлять мертвых чаек. Та свалка была за чертой города нашего детства. С тех пор, как мы были там в последний раз, прошла вечность. Пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать восемь часов.

Он наконец замечает мой следящий взгляд, и его густые брови сдвигаются в мрачном удивлении. Опрокидывает еще стакан. Ни тени улыбки. Всю дорогу этот хмурый взгляд – взгляд злого тролля. Значит, узнал, нет сомнений.

Я единственная рыжая во всей этой прокуренной чайхане, и я лучше всех знаю, зачем ему рыжеволосые девки. Все они для него – бледные копии меня.

Хорошо, тролль, я подожду, пока ты налакаешься и наберешься смелости и злости. Сажусь за свободный стол. Мне бы, конечно, хотелось немного выпить, но у меня нет денег на это, поэтому я смотрю в пол и просто слушаю обрывки чужих разговоров.

– Эй, Борис, исполни Толстого! – кричит кто-то за соседним столом. И на столешницу взбирается пьяный и огромный, как

Светлана Кузнецова

африканский слон, Борис, достает из ширинки своего *толстого* и ссыт на пол. Кто-то запускает в Бориса ботинок.

Грустный человек, с залысинами на висках и щетиной в стадии перерождения в клочкообразную бороденку, предельно изможденный (прямо как труп погибшего в Бухенвальде мальчика), глядит в точку и бормочет:

– Пятно в центре требует особенного цвета...

– Сделай синим...

– Вы слышали, индус расквасил морду латиносу у пирсов...

– А что там с африканцем?

Они все ждут какого-то африканца. Говорят, он единственный во всем квартале торгует до того улетной травой, что курильщикам сносит крышу. Говорят, он в контрах с латиносами. Тут все с ними в контрах, но африканец не так, как все, а каким-то особым, личным образом. Мне хочется уйти. Мне совсем не нужны эти пьяные разговоры, эти бесполезные знания о латиносах, африканце и шаверме из собачатины (еда, прочем, вполне годная, если привыкнуть). Я поглядываю на Гроба. Но там все безнадежно – он уставился в окно. О чем он, твою мать, только думает? Он, похоже, упился до потери связи с реальностью. Так и есть – ушел в свой мир. Там, в его гудящей башке, безлюдно. Люди, если и есть, ничего не значат: расплывчатые пятна, так, штришки. Лишь золотистые зайчики на стаканах и желтые блики уличных фонарей имеют значение. Они тут все, включая, разумеется, и его самого, сдохнут, не дожив до тридцати, от выпивки, наркоты или пневмонии. Их никто не вспомнит. Через сто лет за

Анатомия Луны

их мазню никто не станет выкладывать миллионы на аукционах. И все они, разумеется, это знают. Иначе их здесь не было бы.

А ко мне уже подошел грустный, с залысынами «труп мальчика из Бухенвальда», отодвинул стул и представился:

– Я Сатанов. Давай выпьем, рыжая?

Он подсел ко мне помолчать и немного потрогать мою руку. Допивает, морщится. Потом, вдруг вспомнив, что хотел меня угостить выпивкой, забирает с соседнего стола, прямо из-под носа увлеченно болтающего Бориса, использованный стакан, ставит передо мной и наливает.

– Пей, рыжая. Может быть, мы с тобой еще и покурим сегодня... если придет африканец...

– Человек из Африки? – я пытаюсь поддержать этот не интересный ни ему, ни мне разговор.

– Да какая там Африка... – он, безнадежно взмахнув рукой, вздыхает: – Федька Африканец, из русских ублюдков.

До меня наконец начинает доходить, что и африканец, и русские ублюдки – имена не нарицательные в этих местах.

Но в тот вечер никакой Федька Африканец так и не появился. И все до утра довольствовались самогоном из картофельных очисток, настоящим на полыни с фенхелем и перегнанным через самодельный дистиллятор, – таков местный вариант абсента. Горькая полынная водка дарила им чувство полета над ночной ноябрьской мостовой, хотя порой и приводила к бешеным вспышкам агрессии (ведь количество токсичного галлюциногена туйона в здешней полынной водке зашкаливало). Абсент тут пили и не-